



*Меран-Унтермайс, пансион «Оттобург»\**

Дорогая госпожа Милена,

я послал Вам несколько строчек из Праги, а потом из Мерана. Ответа не последовало. Впрочем, строчки мои, конечно же, не нуждались в скольконибудь спешном ответе, и если Ваше молчание есть всего лишь признак относительного благополучия, каковое, мы знаем, часто выражается в нерасположенности к писанию писем, то я вполне доволен. Но ведь возможно также — и потому я пишу снова, — что в тех строчках своих я Вас чем-то обидел (какая у меня тогда против воли грубая рука, коли это так) или, что было бы много хуже, та минутная передышка, о которой Вы писали, вновь миновала и для Вас вновь наступили тяжелые дни. Относительно первого предположения мне нечего сказать, настолько чуждо мне подобное намерение, а все остальное несколько ближе; относительно же второго не решаюсь гадать, — да и как я могу гадать? — хочу только

---

\* Кафка не датировал своих писем к Милене. Перевод осуществлен по изданию: Franz Kafka: Briefe an Milena. Hg. von Willy Heas. © 1952 Schocken Books Inc. New York City, USA.

спросить: отчего бы Вам не уехать хоть ненадолго из Вены? Вы же не бесприютны, как иные. Может быть, прогулка в Богемию придала бы Вам сил? А если по каким-либо причинам, мне неизвестным, Вы не хотите в Богемию, то куда-нибудь еще — может быть, неплохо даже и в Меран? Вы бывали в Меране?

Итак, я ожидаю одного из двух. Либо дальнейшего молчания, это означает: «Не беспокойтесь, у меня все в порядке»; либо же хоть нескольких строк.

Сердечно Ваш, *Кафка*

Я вдруг понял, что, собственно говоря, не могу вспомнить в каких-либо подробностях Вашего лица. Вижу только, как Вы тогда проходили между столиками в кафе, направляясь к выходу, Вашу фигуру, Ваше платье — это все еще вижу.

Дорогая госпожа Милена,

среди венского уныния Вы трудитесь над переводом. Для меня это и трогательно, и стыдно. Вы, наверное, успели уже получить письмо от Вольфа\*, по крайней мере он уже некоторое время назад писал мне о таком письме. Новеллы «Убийца», объявленной, как говорят, в каком-то каталоге, я не писал, это недоразумение; но коль скоро она якобы лучшая, возможно, так оно и есть.

Судя по вашему последнему и предпоследнему письмам, тревоги и заботы, кажется, целиком и полно-

---

\* Речь идет о Курте Вольфе (1887–1963), мюнхенском издателе Кафки.

стью Вас оставили, и я очень Вам этого желаю — и Вам, и Вашему мужу. Мне вспоминается воскресный вечер несколько лет назад, я брел по набережной Францескэ, цепляясь за стены домов, и столкнулся с Вашим мужем, он шел мне навстречу и выглядел не многим лучше, чем я, — два больших специалиста по головным болям, впрочем, каждый совершенно в своем роде. Не помню уже, то ли мы продолжили путь вместе, то ли так и разминулись, да, пожалуй, разница не столь уж и велика. Но все это миновало и должно остаться в глупинах минувшего. Хорошо ли у Вас дома?

С сердечным приветом,

Ваш *Кафка*

*Меран-Унтермайс, пансион «Оттобург»*

Дорогая госпожа Милена,

только что прекратился дождь, ливший почти двое суток днем и ночью; может быть, это и ненадолго, но все же такое событие надо отпраздновать — вот я и пишу Вам. Впрочем, дождь я перенес легко, это оттого, что вокруг меня чужбина, она, правда, невелика, но сердцу от нее отрадно. Вы ведь тоже, если я верно почувствовал (недолгое единственное полунемое свидание явно невозможно исчерпать в памяти), рады были венской чужбине; потом-то, возможно, обстоятельства все омрачили, но Вы тоже радуетесь чужбине как таковой? (Впрочем, это, наверное, дурной знак, и лучше бы ей не радоваться.)

Я живу здесь вполне сносно, более тщательного попечения брэнное тело едва ли бы и выдержало, бал-

кон моей комнаты утопает в зелени, обвит, захлестнут цветущими кустами (странная тут растительность — в такую-то погоду, при которой в Праге уже и лужи замерзли бы, перед моим балконом медленно раскрываются чашечки цветов), и при этом он весь открыт солнцу (или, что вернее, нависшему облачному небу, вот уже почти неделю). Ящерицы и птицы, несуразные знакомцы, навещают меня; о, я бы так хотел подарить Вам Меран. Вы недавно написали, что «задыхаетесь», образ тут вполне соответствует смыслу, а эти края, может быть, хоть немного все облегчили бы.

С сердечным приветом,

Ваш *Ф. Кафка*

Стало быть, легкие. Целый день я ворочал эту мысль в голове и так и этак, ни о чем другом думать не мог. Не то чтобы болезнь особенно меня пугала; наверное (я на это надеюсь, и Ваши намеки это, кажется, подтверждают), она коснулась Вас лишь мягко, но даже и серьезное заболевание легких (более или менее поврежденные легкие сейчас у половины Западной Европы), знакомое мне самому вот уже три года, принесло мне больше блага, чем зла. Года три назад это началось у меня посреди ночи — пошла горлом кровь. Я встал с постели (и это вместо того, чтобы остаться лежать, как я узнал позже из предписаний), случившееся меня взбудоражило, как все новое, но, конечно, немного и перепугало; я подошел к окну, высунулся наружу, потом прошел к умывальнику, походил по комнате, сел на кровать — кровь не переставала. Но при этом я вовсе не был несчастен — ибо

через некоторое время я почему-то ясно вдруг осознал, что после трех, да нет, четырех лет бессонницы я впервые — если, конечно, перестанет идти кровь — смогу заснуть. Вскоре все прекратилось (и с тех пор не возвращалось), так что остаток ночи я спал спокойно. Правда, утром пришла горничная (я снимал тогда квартиру в Пале Шёнборн), добрая, чуть ли не самоотверженная, но в высшей степени деловая девушка, и, увидев кровь, сказала: «Pane doktore, s Vámi to dlouho nepotrvá»\*. Но я чувствовал себя лучше обычного, пошел на работу и лишь после обеда отправился к врачу. Продолжение этой истории тут уже неинтересно. Что я хотел сказать: меня напугала не Ваша болезнь (тем более что я, без конца перебивая сам себя и перебирая свои воспоминания, распознаю за всей Вашей хрупкостью почти по-крестьянски бодрую, крепкую натуру и прихожу к выводу: нет, Вы не больны, это лишь предостережение, а не заболевание легких), — так вот, не это меня напугало, а мысль о том, что должно было предшествовать такому срыву. Тут я для начала исключаю остальное, о чем Вы пишете: ни гроша в кармане, только чай да яблоки, ежедневно с двух до восьми, — это все вещи, которых я не понимаю, и они явно нуждаются в устных разъяснениях. От этого я, стало быть, сейчас отвлекаюсь (но только в письме — ибо забыть такое невозможно) и думаю лишь об объяснении, которое я тогда выстроил для заболевания в моем случае и которое ко многим случаям подходит. Мой мозг тогда просто не мог больше переносить

---

\* «Господин доктор, вы долго не протянете» (чеш.).

возложенные на него заботы и мучения. Он сказал: «Я сдаюсь; а если кому-то все-таки важно по возможности сохранить целое, пусть облегчит мне ношу, и тогда мы еще какое-то время продержимся». Тут-то и подали голос легкие — им, видно, нечего было терять. Эти переговоры между мозгом и легкими — без моего ведома — были, наверное, ужасны.

И что же Вы теперь намереваетесь делать? Насколько я понимаю, немножко оберегать Вас — это сущий пустяк, это ничего не стоит. А то, что Вас надо немножко оберегать, должно быть видно всякому, кто Вас любит, тут все остальные соображения должны умолкнуть. Стало быть, избавление найдено? Я ведь уже сказал — нет, не буду шутить, у меня вовсе не весело на душе и не будет весело, пока Вы не напишете мне, удалось ли Вам наладить новый и более здоровый образ жизни. Почему Вы не уедете на некоторое время из Вены — об этом я уже не спрашиваю после Вашего последнего письма, я все понял, но ведь и поблизости от Вены есть чудесные места, где бы Вас могли окружить заботой. Я не пишу сегодня ни о чем другом, ничего более важного у меня нет за душой. Все остальное — на завтра, в том числе и благодарность за журнал\*, я был растроган и устыжен, опечален и обрадован. Нет, еще только об одном сегодня: если Вы пожертвуете хоть минутой Вашего сна ради перевода, это будет все равно что навек про-

---

\* Экземпляр чешского литературного еженедельника «Кмен» (№ 6 от 22 апреля 1920 г.), где был опубликован рассказ Кафки «Кочегар» в переводе Милены.

клясть меня. Ибо когда однажды дело дойдет до суда, не понадобится никакого особого следствия, будет просто установлено: он лишил ее сна. Тем самым я буду осужден — и по праву. Стало быть, я борюсь и за себя, когда прошу Вас больше этого не делать.

Ваш Франц К.

Дорогая госпожа Милена,

сегодня я хочу писать о другом, но — не пишется. Не то чтобы я все принимал уж слишком всерьез; будь это так, я писал бы по-другому, но ведь должна же где-то стоять для Вас качалка в саду, в полуза-тененном уголке, и чашек десять молока под рукой, чтоб сразу дотянуться. Пускай это даже будет в Вене, ну и что, тем более летом, только б не голодать и не тревожиться. Неужели нет никого, кто бы в этом помог? А что говорит врач?

Когда я вынул журнал из большого конверта, я был почти разочарован. Я хотел услышать что-нибудь о Вас, а не этот уж слишком знакомый голос из старой могилы. Зачем он встрял между нами? А потом я понял, что он же нас и свел. Но, между прочим, для меня непостижимо, как Вы решились взять на себя этот тяжкий труд, и я глубоко тронут тем, с какой верностью Вы его исполнили, словечко за словечком; что такая верность и та великолепная естественная уверенность, с какой Вы ее сохраняете, возможны в чешском языке, я и не предполагал. Неужели немецкий и чешский так близки? Но как бы то ни было, сам рассказ, говоря по чести, отменно плох; мне было бы легче легкого, дорогая госпожа Милена, доказать



Вам это строка за строкой, и разве что мое отвращение пересилило бы необходимость доказательства. То, что рассказ Вам понравился, естественно, придает ему ценность, но и немного омрачает для меня картину мира. Довольно об этом. «Сельского врача» Вы получите от Вольфа\*, я ему написал.

Разумеется, я понимаю по-чешски. Мне уже не раз хотелось спросить Вас, почему Вы не напишете мне как-нибудь по-чешски. Это вовсе не оттого, что Вы не владеете немецким языком. Вы, как правило, владеете им изумительно, а если где-то вдруг обнаружится, что Вы им не владеете, он добровольно склоняется перед Вами, и тогда это особенно прекрасно; вот немец этого от своего языка никак не ожидает, так лично он не отваживается писать. Но я бы хотел почитать Вас по-чешски, это ведь Ваш язык, ведь только там, в нем вся Милена (перевод это подтверждает), а здесь разве что Милена венская или собирающаяся в Вену. Итак, по-чешски, пожалуйста. И пришлите свои фельетоны, о которых Вы пишете\*\*. Пускай они «ничтожны», что за беда. Вы же пробрались сквозь мою ничтожную повестушку — куда? Не знаю. Но вдруг и я смогу, а уж если не смогу, что ж — так и останусь пребывать в наилучшем предубеждении из всех возможных.

Вы спрашиваете о моей помолвке. Я был помолвлен дважды (если угодно, даже трижды — по-

---

\* Сборник рассказов Кафки «Сельский врач» был выпущен в Мюнхене Куртом Вольфом в 1920 г.

\*\* Милена писала с января 1920 г. для чешских газет фельетоны из венской жизни.

тому что дважды с одной и той же девушкой); итак, трижды я был в каких-нибудь нескольких днях от брака\*. Первая история целиком позади (там уже новое супружество и, как я слышал, появился малыш), вторая еще жива, но без всяких видов на брак, то есть, собственно, уже и не жива — либо, точнее говоря, живет теперь самостоятельной жизнью за счет людей. Вообще я в этом случае — да и в иных тоже — пришел к выводу, что мужчины, возможно, больше страдают или, если взглянуть на дело иначе, обнаруживают меньшую сопротивляемость, а вот женщины всегда страдают безвинно, и это не потому, что они тут «бессильны что-либо поделывать», а в самом изначальном, прямом смысле, хотя он, наверное, в конечном счете оказывается все тем же «бесси́лием». Впрочем, что толку ломать над этим голову? Ты будто силишься разбить единственный котел в аду; во-первых, это не удастся, а во-вторых, если и удастся, ты сам хоть и сгоришь в хлынувшей из него огненной лаве, но ад все равно останется во всем своем великолепии. Надо действовать иначе.

Но сначала, во всяком случае, надо улечься в саду и постараться извлечь из болезни, особенно если это не взыправдашняя болезнь, всю сладость, какая только возможна. А в ней много сладости.

Ваш Франц К.

---

\* Речь идет о двух помолвках Кафки с Фелицией Бауэр (май 1914 г. и июль 1917 г.) и о помолвке с Юлией Вохрыцек (осень 1919 г.).

Дорогая госпожа Милена,

скажу сразу — а то Вы, чего доброго, против моей воли вычитаете это из моего письма: вот уже примерно две недели меня все сильнее донимает бессонница, вообще-то я не делаю из этого трагедии, такие периоды приходят и уходят, и для них всегда есть даже больше причин, чем нужно (это смешно, но, по Бедкеру, одна из них — меранский воздух), — хоть эти причины иной раз почти и не видны; как бы то ни было, от всего этого делаешься тупым, как чурбан, и беспокойным, как лесной зверь.

Но хоть одна радость у меня есть. Вы спали спокойно — пусть и «странным образом», пускай еще вчера Вы были «вне себя», — но спали спокойно. Если ночью, стало быть, сон будет бежать от меня, я теперь знаю его дорогу — и не возропщу. Да и глупо было бы роптать: ведь из всех существ сон — самое невинное, а человек, не знающий сна, — самое виновное.

И вот этого человека, лишенного сна, Вы благодарите в своем последнем письме. Если бы кто-то со стороны прочел его, он бы, наверное, подумал: «Что за человек! Похоже, он сумел сдвинуть горы». А между тем человек ничего не сделал, пальцем не пошевелил (разве что пером), питается молоком и чем бог пошлет (не всегда — хоть и часто — имея под рукой «чай да яблоки»), а в остальном предоставляет вещам идти своим ходом и горам оставаться на своих местах. Вы знаете историю первого успеха Достоевского? Эта история многое в себя вобрала, и я привожу ее лишь удобства ради, из-за прославленного

имени, потому что любая история, случившаяся по соседству, а то и еще ближе, имела бы тот же смысл. Кстати, я уже и помню-то ее лишь приблизительно — тем более имена. Достоевский писал в это время свой первый роман «Бедные люди», а жил вместе со своим другом, литератором Григорьевым\*. Тот хоть и видел в течение многих месяцев груды исписанных листов на столе, но манускрипт получил в руки, лишь когда роман был готов. Он его прочел, пришел в восторг и, ни слова не сказав Достоевскому, отнес его знаменитому тогда критику Некрасову. В три часа ночи к Достоевскому звонят в дверь. Врываются Григорьев с Некрасовым, бросаются к Д. с объятьями и поцелуями, Некрасов, прежде его не знавший, называет его надеждой России, они беседуют час, два, главным образом о романе, и расстаются лишь под утро. Достоевский, назвавший потом эту ночь счастливейшей в своей жизни, подходит к окну, смотрит им вслед, не может прийти в себя и разражается слезами. Охватившее его чувство — он сам его потом описал, не помню где, — было примерно таково: «Что за великолепные люди! Как добры, как благородны! И как низок я сам. Если б они могли заглянуть ко мне в душу... А ведь скажи я им — не поверят». То, что Достоевский потом еще и решил им во всем следовать, — это уже арабеска, это последнее слово, которое оставляет за собой непобедимая юность, к рассказанной истории

---

\* Кафка здесь ошибается — речь должна идти о Д. В. Григоровиче, рассказавшем эту историю в своих воспоминаниях.

это уже не имеет отношения, она, стало быть, закончилась. Понимаете ли Вы, дорогая госпожа Милена, тайный смысл этой истории, непроницаемый для рассудка? По-моему, он вот в чем: Григорьев и Некрасов, если говорить вообще, были, конечно же, не благороднее Достоевского, но Вы отрешитесь сейчас от общего взгляда (Достоевскому он ведь тоже не нужен был в ту ночь, да и что толку от него в каждом единичном случае?), Вы слушайте только Достоевского, и Вы проникнетесь тогда убеждением, что Гр. и Н. в самом деле были великолепны, а Д. грязен, бесконечно низок, что он, конечно же, никогда даже и отдаленно не достигнет этих высот и уж тем более речи быть не может о том, чтобы отплатить Гр. и Н. за их неслыханное, незаслуженное благодеяние. Я буквально вижу их из окна — как они удаляются и тем самым подтверждают свою недосыгаемость. К сожалению, истинный смысл этой истории размывается великим именем Достоевского.

Куда меня завела моя бессонница? Во всяком случае, я и там остаюсь лишь с самыми добрыми побуждениями и пожеланиями.

Ваш Франц К.

Дорогая госпожа Милена,

всего несколько слов, завтра наверняка напишу Вам снова; сегодня же я пишу только ради себя, только затем, чтобы хоть что-то сделать для себя, только чтобы немного отодвинуть впечатление от Вашего письма, иначе оно будет преследовать меня день и ночь. Вы очень странная, госпожа Милена, живете

там, в Вене, страдаете и притом еще находите время удивляться, что другим, мне, например, живется не очень хорошо и что какую-то ночь я сплю хуже, чем предшествующую. У трех здешних моих приятельниц (трех сестричек, старшей пять лет) подход не в пример разумнее, при всяком удобном и неудобном случае, у реки ли, нет ли, они норовили спихнуть меня в воду, и вовсе не потому, что я плохо с ними обошелся, отнюдь. Когда взрослые грозят детям такими вещами, то это, разумеется, шутка и любовь и означает приблизительно вот что: скажем-ка, развлеченья ради, что-нибудь ну совершенно, совершенно невозможное. Но дети все воспринимают всерьез, и невозможное для них не существует, десять неудачных попыток спихнуть тебя в воду не убедят их, что и одиннадцатая закончится неудачей, они даже не помнят, что прежде десять раз вышла осечка. Если наполнить детские слова и намерения знанием взрослых, становится жутковато. Когда этакая четырехлетняя малышка, которая словно бы и создана лишь затем, чтобы ее целовали и тискали, а вдобавок сильная, как медвежонок, и еще по-младенчески пузатенькая, идет на тебя в атаку, а две сестренки помогают ей слева и справа, и за спиной у тебя уже перила, а добродушный папаша этой троицы и мягкая красивая толстушка мать (в колясочке у нее четвертый) с улыбкой издали наблюдают за происходящим и вовсе не спешат тебе на выручку, — ты почти на краю гибели, и толком невозможно описать, каким образом все же удастся спастись. Разумные или прозорливые дети норовили сбросить меня в воду без особой причины, может быть, оттого, что